Правда любви (к шестидесятилетней годовщине со дня рождения В. Г. Короленко)

Для Короленко настает история, но об <нрзб.> у нас есть еще – только критика. Важнейшей причиной этого является то, что собрание сочинений его еще не издавалось. Отдельными сборниками выходили, может быть, а большая часть <нрзб.> их, но все-таки – не все, и многое характерное остается еще в журналах; одно - слабое, по мнению критики или самого автора, в художественном отношении, - другое – то, что называется "временным", т.е. публицистика. Но внутренней причиной , конечно, является - отсутствие у нас истории литературы, и – что еще важнее – отсутствие органической критики, критики, чувствующей искусство и жизнь как одно бытие, сознающей свое назначение и подготовляющей литературную историю. Правда, исторические очерки о Короленко у нас бывали, но они оставались случайными, не вырастая из подготовительной почвы критики, и сами оказывались больше критикой, чем историей.

Сегодняшний день шестидесятилетней годовщины большого и влиятельного писателя (в будущем году исполнится 35 лет его литературной жизни) - должен был бы стать днем приветствий явлению бесспорному, установленному для общественного сознания. Но разрозненность нашей критической мысли и отсутствие литературной истории вызывают необходимость приветствовать, вместе с тем и оценивая. Однако, как бы неорганична наша критика ни была, все же для всех несомненно, что Короленко есть один из классических наших писателей. Его успех был быстрый, неожиданный и шумный, когда он выступил в середине 80-х годов. Из молодых художников не было в то время более читаемого, более любимого, хотя он писал немного; но это немногое перечитывалось по многу раз. Ни Эртель, ни, тем более Мамин-Сибиряк, ни даже Гаршин, ни сам Чехов - не имели в эти годы такого распространения. Рядом с ним чтили и Глеба Успенского, но он был слишком мрачен, слишком близок по своей нравственной тяжести к Достоевскому, чтобы сборники его мучительных "очерков" могли стать настольными книгами. В обиходе огромной массы русских читателей, руководимой в те годы Михайловским, все здоровое любило Короленко, а чувства грустных и больных волнений будил наряду с ним Надсон, хотя значение "юноши-поэта" больше - чувствительного и отзывчивого, чем одаренного даром поэзии, несравнимо по дарованию с Короленко. А Чехова тогда еще не понимали. Шли годы - и душевная жизнь осложнялась, настроения становились все болезненнее, между тем идеалы развивались, сознание углублялось. Те чувства, которым отвечала лирика Надсона, нашли себе гораздо более сильный и, воистину, поэтический ответ в повестях Чехова, а чувства простые и ясные, лишенные психологической тяготы, возбуждаемые повестями Короленко, уходили, и их сменяло обожание Чехова.

Жизнь осложнилась, и ее осложнение выразилось не только в тяготении к чеховскому элегизму. Ведь в этом году 60 лет от роду исполнилось бы и

тому, кто в те же годы рядом с Чеховым создавал вокруг себя неявную, но очень ощутительную школу или, вернее, круг умственных настроений – это Вл. Соловьев (родился тоже в 1853 г.). Да, Короленко и Вл. Соловьев – вот сопоставление еще более крушительное, чем Короленко и Чехов!

Потому что притяжение многих молодых умов к Вл. Соловьеву было движением в сторону от Михайловского, и оно совпало в интимных своих связях - с возникновением декадентства и символизма, с увлечением Достоевским, которое, в свою очередь, влекло в сторону от Толстого. Как умственное влияние Толстого шло рядом с влиянием Михайловского (они гораздо ближе друг к другу, чем кажется), так притяжение к Вл. Соловьеву вызвало родственное ему влечение к Достоевскому... А потом марксизм, революция и всеобщая смута умов!

Биограф Короленко (Н. Шаховская) высказал, что "через 100 лет имя его будет говорить мало... может быть, будет забыто совсем", потому что "сила всякого чувства (характерная для него, по мнению биографа) не в продолжительности". - Предполагать так - было бы обычной ошибкой нашего общественного мнения, очень легко очаровывающегося и так же легко разочаровывающегося!

Короленко - явление бесспорное и непреходящее - прежде всего именно потому, что "сила всякого чувства" - идет в вечность, а не простирается только на более или менее продолжительное время. Биограф - прав: сила Короленко - в силе чувства. Но какого? В чем же и может быть действительная сила общественной или поэтической, всякой человеческой, души, как не в чувстве?

Все дело в том, что за чувство - какое именно - выразил поэт или публицист? Какую душу он открыл своим современникам?

Душа Короленко - в чувстве общественном, в страсти гражданской по преимуществу. Общественный инстинкт нравственный, инстинкт добра, стало быть, - любви. Общественность слагается из многих побуждений, гражданская жизнь строится на множестве начал, но без живого чувства любви они мертвы: та живая душа, которая в последнем основании движет великое общество, - есть любовь, "чувство доброе". Оно может быть больным, лихорадочным, омраченным; оно может быть простым, здоровым, ничем не омраченным, даже теми явлениями, которые будят это чувство. Оно может перейти в гнев, в злобу, в трагическое сознание, оно может обессилить в трагической мысли; оно может стать революционным раздражением или пафосом; оно может превратиться в благодушную слезоточивость, оно может разлиться в слезах одинокой нежности; оно может стать внутренней верой и неумирающей надеждой, готовой сказаться каждую минуту, когда жизнь призовет...

У Короленко – это чувство простой и ясной веры; надежды, постоянно влекущей, неумирающей.

Его называли "правдоискателем". Я думаю, что ему не надо было "искать" правды, потому что он ее очень рано узнал - ту единственную, которую ему было дано узнать, правду любви, становящейся верой, всегда обещающей. Он искал много раз и правдоискателей, и правдолюбцев, будучи сам правдолюбцем, любя правду и ища не ее, а тех, кто ее ищет и любит. Его

правда одна - в милосердии, в признании величайшей людской заповеди - беззаветной любви людей друг к другу. Этой заповедью он и ответил на томления одного из первых встреченных им правдоискателей, обходя все его безумные утверждения, как пустые подробности ("В подследственном отделении"). - "Яшка стучит" - и это так же безумно, как и вся его мудрость, но не бессмысленно: он говорит этим диким стуком о своей правде и будит людские совести.

"Великий христианин!" - остановился когда-то Лев Толстой перед дурачком юродивым. "Великий подвижник!" - останавливается в таком же изумлении Короленко перед полубезумным "стукальщиком". - Великий христианин! мог бы сказать и Короленко о своем "подвижнике", если бы намеренно не избегал религиозного словаря, - христианин потому, что он подвижник правды любви ради! Той правды, которую Михайловский, тоже намеренно избегая того же словаря, называл холодным именем "справедливости".

"Правда" Короленко - есть, несомненно, правда любви к людям. Как же может быть "забыт через 100 лет" тот, кого звала к себе эта правда, и кто шел на ее призыв, только на ее, больше ни на чей? Как могут быть забыты когда-нибудь все те, кто вместе с ним, кто так же, как и он, неудержимо шли на этот призыв?..

Короленко высказывал свою любовь как поэт и как публицист. Но его поэзия вся насквозь светится общественной страстью, - вниманием к людям, ищущим правды, - которая в любви, и, значит, - в невозможности насилия, в невозможности ограничения правдивых сил. А его публицистика - никогда не деловая, выражает все те же тревоги любви и свободы; только, что здесь они разрешаются не в зрительные образы, а в слова убеждения, гораздо больше убеждения, чем обличения, вызванные гневом. Как писатель Короленко почти не имеет развития: та поэтическая этнография, с которой он начал, - есть лучшая стихия его поэзии. К ней присоединились воспоминания детства, психологические опыты и легенды. Поэтическая этнография началась правдоискательским стуком Яшки и воздушным "сном Макара", наиболее сжато выразилась в "Соколинце" и "Морозе" и завершилась незабываемым "Бытовым явлением", - чистой публицистикой. Второй род трогательнее всего сказался очерками "В дурном обществе" и "Ночью" и закончился уже бледнее: "Историей моего современника". Третий - опыты психологического анализа - выразился в популярнейшем "Слепом музыканте". Для четвертого рода - легенды - Короленко слишком мало способен к стилизации - к преобладанию манеры над темой (как, напр., Лесков). В поэтической этнографии, переходящей иногда прямо в публицистику, Короленко истинный поэт, любовный и самобытный, где все недостатки его манеры (растянутость) у места; и где даже то, что является отрицательными свойствами: в воспоминаниях детства - сантиментальность, в психологических опытах - приподнятость тона - становится силой.

"Сон Макара", "В подследственном отделении", "Очерки сибирского туриста" (Убивец), "Река играет", "Мороз" - вещи, в которых Короленко

проявляет свою писательскую манеру с наибольшей силой. Но "развития" - не было. Можно сказать, что "Сон Макара" написан менее тонко, чем "Мороз", но зато в первом больше свежести. Каким он сложился когда-то, таким он и остался - весь целостный, весь нетронутый, нерасколотый, верный себе, как одна душа, именно не ищущая, не мятущаяся. Когда-то мучился, искал, решал вопрос, есть ли Бог, думал о самоубийстве, - но предвидением чистого, нераздвоенного сердца рано сознал, что ему дано, что ему открыто, - и эту данную ему, эту открытую ему правду полюбил, и она ведет его с тех пор за собой через все, что было, через все, что волновало.

Стилистическое мученичество всегда соответствует внутреннему. У Короленко нет ни того, ни другого. Его стиль ровен, равномерно красочен, равномерно выразителен. Он любит в людях ту же правду, в какую сам верит, - и, много видя таких, как он сам, радуясь тому, что они есть, любуясь ими, передает свои наблюдения - языком, взволнованным этой любовью, - в меру этой правды. Нет в его манере ни элегической задушевности Чехова, ни нервического надрыва Глеба Успенского. Нет ничего остро психологического – нет признаков и особого ритма, который всегда звучит у рассказчиков лирических по природе. Он, собственно, не лиричен, потому что он слишком общественный ум, слишком наблюдатель, слишком заинтересован другими - и не их истинной психологией, а их судьбой – в зависимости от их правдолюбия.

Переходит ли где-нибудь его любовь к тем, кого гонят за правду - в ненависть к гонителям, в бунт? Нет! Цельность его души в том, что его правда не изменяет себе самой, она не становится злобой, она обличает, потому что любит - и надеется, что в ней нет места озлоблению. Это изумительно! Человек, сам страдавший, видевший страдания и слишком неравнодушно видевший их, бывший другом, близким и искренним, людей, которые жили не одной святыней любви, но и святыней гнева; руководящий журналом, - органом тоже не только любви, но и гнева, он сам остается безгневным: это не его душа! И здесь власть любви, а не "благодушие", которое хотел видеть в его поэзии один из его критиков (Чуковский)! В этом его цельность, единственность его сердца, и потому в нем все так прозрачно, и в сердце, и в поэзии, и в самой публицистике, как бы мрачна она ни была. Это - прозрачность, присущая всем чистым сердцем. Но, будучи сама великой силой, она не совмещается со "змеиной мудростью", потому что в этой мудрости - всегда и мрак, и веяние зла, и злоба. Ни зла, ни злобы, никакой омраченности нет ни в поэзии, ни в публицистике Короленко. Можно сказать, что его возмущение против тех, кто является виновником страданий, всегда заливалось любовью к страдающим и гибнущим, прежде чем дойти до напряжения гнева, и потому в его отношении к злу нет места отчаянию, которое часто стоит в конце всякого возмущения. Если в 90-ых годах эту короленковскую прозрачность сменила чеховская печаль, то Чехова сменил Горький, потом - Андреев, Сологуб... И если Горький (один только из всех развившийся из Короленко) еще удерживался в пределах инстинктивной бодрости, то Андреев, Сологуб – это омрачение за омрачением, все мрачнее,

все резче. А тут еще декадентские исступления и символизм, и бунт Мережковского!.. Короленко - и Андреев, Короленко - и Сологуб, Короленко - и Мережковский! вышли ли мы куда-нибудь, наконец? Знаем ли, куда идем?

Да, кажется, выходим и знаем. Но туда, куда теперь выходим, это путь не в сторону от Короленко и его "подвижников", а вместе с ним и с ними. От чеховской бескрылой нежности, через томления индивидуализма, - к правде любви, к той, о которой по-своему мечтал и Вл. Соловьев, в истинном смысле которой совпадают и Мережковский, и Толстой, и Достоевский. И тот, кто таким чистых сердцем всю жизнь верил в одну - в нее, и так действительно надеялся, опять становятся нам близок, ближе, чем раньше. Я верю, что сегодня Короленко будут приветствовать не только его сверстники, но и те, кто пережил умственную смуту конца и начала века, и те, кто вступает в жизнь теперь.